

# Про город в облаках и про то, что грязная земля до боли раздражает...

примерно, максимум человеческого роста. Вся наша древняя архитектура пропорциона человеческим ростом. Поэтому, когда человек входит в храм, — даже в огромный, как Успенский собор в Кремле, — то пространство, масса не подавляют его. А многие церкви и вообще как игрушки. Я уж не говорю, что ставились они в самых красивых местах, с волшебным чувством пейзажа, земли. Храм ли, просто ли особнячок, — они соединяли человека с землей и небом. А возьми пирамиду Хеопса и поставь в центр Москвы — вот тебе и советское зодчество, по масштабам применительное не к человеку, а к муравью или мухе.

— Когда восстанавливаешь мысленно утраты, замечаешь, что систематически уничтожались лучшие, самые живописные места Москвы. У архитекторов развитое художественное чутье, и в данном случае оно проявлялось в какой-то особенно извращенной форме. Некий садизм, — названный, конечно, государством, но не роботами же осуществлявшийся. Там, где не застроено архитекторами, до невозможности загрязнено толпою.

— Да, действительно, планомерно уничтожались самые живописные пейзажи. Взять Андреевку за Нескучным садом, где наверху дворец Орловых-Давыдовых, а понизу замечательно сохранившийся монастырь XVII века. Места были красоты невообразимой. Рыбу ловили кошелками. И не так уж давно, МГУ тогда еще строился. Помню, в детстве купался на Живодерском пляже рядом с Андреевкой. Залез в воду и гляжу на свои ноги под водой, хрустально-прозрачной. Песок виден, рыбки подплывают, в ноги тикают. Напротив, в Лужниках, заливы луга, церковь Тихвинской Божьей матери. Потом и церковь снесли к фестивалю, и лестницу дворцовую в парке всю разворотили, и возвели новый корпус президиума Академии наук, чудовищный по своей нелепости. Как будто огромный уют поставили на попу, придавив и Воробьевские горы, и монастырь. А ведь в Москве масса пустырей — десяток, сотню таких Академий наук можно поставить. Нет, надо здесь, на красоте. Пруды заросли, о воде уж не говорю — подойти страшно.

Если не загромождают коробками, то превращают в помойку. Взять хотя бы Царицыно. Что там творится! Руины дворца, беседка «Нерастанкино» снизу доверху матом исписана. Как будто кругом стоят уголовники бродят.

Или Перерва близ Коломенского. Помню, с отцом ездил туда в 1947-м картошку копать. Марьино, Садовники, Дьяково... Деревни все в садах. Деревню порушили, кладбище при Гришине бульдозером уничтожили. Сбрасывали разбитые надгробия прямо в овраг. Причем ничего не построили, так и осталось гладкое, пустое место. Просто был очередной приступ кладбищенфобии. Единственный памятник, ты, наверное, знаешь, остался — какой-то молодой крестьянке, которая вместе с ребенком умерла при родах. И ворота кладбищенские покорежены, не стоят. Была деревенская жизнь, дети, старики, сейчас мертвечина, пустота. И сами храмы от этого оцепенели.

Еще вот Каменная плотина, за Пятыхой, — я ее особенно много писал. Чувствую — место меня чем-то тянет, хотя вроде бы ничего сверхъестественного нет. А потом прочел — здесь была летняя резиденция московского митрополита, сады великолепные, пруды, край был благословенный. Теперь все застроили или завалили мусором. В оврагах ржавые автобусы валяются. Блябды какие-то железобетонные наворочены. Сплошной свинарик.

— Ведь именно здесь московские окрестности, древний Сетунский стан вдохновили историка Ивана Забелина на исследование русского чувства природы. До сих пор это лучший трактат по сему предмету. Там он цитирует слова митрополита Московского Даниила, предлагающего праздным умам отвлечься от суесть и взглянуть на «траву зеленую и цветы красные, горы и холмы, и долины, и озера, и источники, и реки. Сими прохладяйся и прославляй Бога, который для тебя все это сотворил». Трудно представить, чтобы сегодняшние москвичи, сойдя с платформ Суково-Солнечное, предались бы подобным чувствам. Ныне это сплошная мертвая зона, приют алкашей, прохлаждающихся на бетонных плитах.

Но вот ты пишешь Каменную плотину, и весь бред пропадает. Ты приби-



Художник Вадим ДЕМЕНТЬЕВ

Фото С. СТАРШИНОВА

раешь пространство, отделяя его от сегоднешней суесть.

— Многолетняя привычка. Убираю провода, эти полосы в небе мне совсем не нужны. Когда писал Зачатьевский монастырь с надвратной церковью — единственной, которая тут осталась, — мысленно ликвидировал бензоколонку. Воробьевский лес на картине очистил от куч мусора, что наносит отдыхающих.

Грязная земля до боли раздражает. Тут у меня что-то экстрасенсорное, мистика землей. Природу воспринимаю как древние японцы, которые одушевляли камни, горы и деревья — и перенесли это чувство в свой классический пейзаж. Вот пошел как-то по той же Воробьевке гулять и в спешке не взял зонтик, а ливень начался кошмарный. Я там часто гуляю просто так, с палкой, ручьи люблю расчищать. Так вот попал под ливень. Залез в куст, сел на корточки, сижу как дикий зверь. И почувствовал, как это здорово — совершенно раствориться в природе, без остатка. Тайнственное, непередаваемое чувство.

О деревьях особенно грущу. Громадные тополя, целые баобобы рубят, их в Москве почти не осталось. Такие деревья прежде ограждали как памятники, так и у тех же японцев принято. А у нас бульдозер пригоняет — и к черту. Особенно страшно, когда такая железная машина пни выворачивает, словно самое нутро земное выскребает. Тут вот рядом гаражи, я все ходил к ним старинными топами любоваться, что рядом росли. Вдруг спилили. Зачем? Отвечают: а если молния в дерево ударит, бензин вспыхнет. Я говорю: вы соображаете, что тополь — единственное дерево, в которое никогда не бьет молния? Поэтому прежде у домов сажали тополя и обходились без всяких громоотводов. Молчат. Нагадили и молчат.

Природа, даже искалеченная, везде живая. В пейзаже присутствуют души людей, что там жили. И я их воспринимаю как живых.

— Люди у тебя действительно лишь косвенно ощущаются как незримые «души», являясь опосредованно, че-

рез ландшафт. А так ни фигурки не увидишь.

— Барбизонцы воспринимали горожанина как злое и вредное существо. И сейчас — красивый лес, и вдруг выходят какие-то девки в ярких куртках. «Жигуль» выкатывает, из него выбираются парни и сразу давай костер разводить. Глупое, дикое зрелище. А выйдет древняя бабка с таялкой на плече или старик с корзиной грибов — и великолепно вписываются.

Нынешнее поколение меня просто пугает. Что ни сделают, то страшно. Даже детскую площадку построят такую отвратную, что только дебилам на ней расти. Цветники делают из автопокрышек! И все норовят живую землю бетоном задушить, асфальтом замаскировать.

В душе, правда, надеюсь, что вся эта мерзость доходит до нижней мертвой точки, а потом все волей-неволей пойдет вверх. Но как бы вообще в итоге не осталось сплошной лунный пейзаж, целиком бетонный.

А ведь когда-то эти хилые оазисы были сплошным зеленым морем, где жили нормальные, здоровые люди. Русские ведь всегда очень любили природу. И песни, и музыка у них сплошь пейзажные. В западных культурах не так, там преобладает практическая рационалистика, поэтому такие выхолощенные, вычищенные леса, подобные паркам. Газоны всюду, а не наша буйная поросль. Помнишь ведь, как здесь было раньше, даже в городе, в каждом дворе заросли, просто не проредешься, — пока мертвая гарь, химия, что сочится из воздуха, землю сплошь не покрывала. И вообще, — ты верно вспомнил слова Шервуда, — силуэт городской издалека напоминает раззолоченный, разукрашенный лес. Иностранцы дивились.

А потом началось покорение природы. «Мы родились, чтоб сказку сделать былью», — «мы не можем ждать милостей...» — и так далее. Ненависть к природе воспитывалась со школы, с детских лет учили лягушек резать. Накачивали людей сизмалства всякой дурью, закладывая по сути в мозг программу самоубийства. Вот и результаты на каждом

шагу. Пьянь, матерщина, грязь невообразимая. Раньше грехом считалось плевать на землю, а сейчас вся Москва захаркана сплошь. Сейчас останови подряд человек двадцать: «Господа, у кого платки носовые есть?» Может быть, ни у кого и не окажется.

Вот Достоевский поглядел бы на все это. Он гениально предсказал, что случится, но сам, возможно, не очень в предсказанное верил.

— Тут я с тобой разойдусь. Современная наша история страшна и катастрофична. И Москва — превращенная почти что в некрополь — наглядное тому свидетельство. «Великий эксперимент» начался с 1917 года, но ведь еще до этого явно накапливались болезненные симптомы, что привели к общественному самоубийству. Повторяю твои слова — именно не к убийству, а к самоубийству.

Ничему мы сейчас не верим, но хоть классикам-то можно доверять? И при Достоевском народ матерился так, что писателя удивляло, сколько эмоций и сложных чувств можно выразить одним немудреным неблагозвучным словом. А «Мужики» Чехова, покоровившие благородных прогрессистов! Это и реалистический пейзаж с фигурами, и черная перспектива на ближайшее будущее. А насчет асфальта, которым норовят залепить живую землю так, чтобы ни ростка не пробилось, — это из вступления к «Воскресению» Толстого. Другое дело, что — как Бунин гениально подметил (а его-то в нелюбви к русскому народу не упрекнешь!) — после Октября шел уже целенаправленный отбор всего самого низменного, преступного. Но ведь было из чего отбирать, не с Марса все доставлено...

— Классики, говоришь. Не знаю, не знаю. Они просто не могли вообразить всего, что произойдет. Их прогнозы и опасения несоизмеримы с современностью, прошлое и настоящее разделены как пространство и антипространство. Превращая Москву, превращая Россию — не просто исторический фон, они в каком-то совершенно ином измерении. Я уже говорил, что бывшая Москва является мне в виде отчетливой дневной грезы. Трудно даже конкретно объяснить.

Знаешь, в «Реквиеме» Моцарта есть одна часть, «Лакримоза». Моцарт, как известно, писал «Реквием» хоть и по чужому заказу, но на самом деле о себе. И воспринимал смерть не как мы — ну там покойник, кладбище, но как освобождение. «Лакримоза» — это совершенно трансцендентное состояние. У него там душа уже отделяется от плоти, он видит разорванные небеса и ангелов.

И у меня было нечто подобное. Люблю приходить на Калужскую заставу, где мой дом был. Вот тут, где сквер и «Дом Фарфора», когда-то мой дом стоял. Остановлюсь здесь, и душа моя тоскует. И вдруг вижу на севере невероятной красоты небо. Вижу в небе «Лакримозу» Моцарта. Звуки переходят в краски. И какой-то странный, таинственный город парит вдали. Со сказочными дворцами, храмами, садами, теми же башенками. Вокруг мягкие, ангельские облачка, как в финале «Фауста». И чувствую — я там жил. Этот заоблачный город — мой. Моя Москва-Лакримоза.

Я всегда старался сделать небо в своих пейзажах средоточием красоты, наслаждался его красочным свечением. Тут нет ничего иконописного — все от голландцев, от нашего XIX века, от самой природы. Но эффект все же потусторонний — во всяком случае я к такому стремлюсь. Сейчас пробую писать иконы, только недавно постиг их как художественный факт, а не только литургический символ — как понимал их всегда.

Даже и архитектурой церковной занялся. Работая над проектом храма Святой Троицы — что собираются возвести в ознаменование тысячелетия Крещения Руси. Конкурсные проекты в большинстве своем мне не понравились. Вертикаль везде преобладает. А русские храмы не взлетают, это не готика, они парят, как облака, особенно, когда смотришь издали. И великолепно вписываются в природу, в рисунок холмов и полей. Посмотришь на такую церковь, в Новгороде или Пскове, и такое впечатление, что она испокон веков здесь стоит, что пустого места тут никогда не было. Это труднее всего в проекте передать.

Изучая религиозное искусство, хочу себя испытать. Это творчество, диаметрально противоположное моему реализму. Если в реализме мы все время идем к природе, то иконописец уходит от нее, вернее, преобразует ее до совершенно нового качества. Утверждает ее богоносность. Но в любом случае это движение в иную сторону. Может статься, старая, я вообще брошу светскую живопись и иконописцем стану. Но пока пейзаж бросить не могу. Сейчас иконописцев очень много, немало и очень хороших. А вот такого неба, как у меня, я что-то ни у кого не вижу.

— Да, пожалуй. Так надо ли тебе вообще уходить от пейзажа? Твой реализм не бытописателен, он несет в себе особый, средневековый смысл, подразумевающий не внешнюю эмпирию, но высшую, горную реальность. Не столько — вернее, не только — сегодняшнюю расхристанную Москву, но твой город в облаках. На иконы, конечно, совсем не похоже. Но и не враждебно им.

**Вадим Владимирович ДЕМЕНТЬЕВ (род. 1941)** — известный русский живописец, посвятивший почти все свои картины Москве и окрестностям, их архитектуре и природе, тому, что принято называть «экологией культуры». Беседует с ним доктор искусствоведения, историк и иконолог **Михаил Николаевич СОКОЛОВ**.

— Твои картины, Вадим, сперва кажутся поэтическим пособием по реконструкции Москвы, классического русского пейзажа в целом. Пособием, вполне сопоставимым со строгим благородством старинных фотографий, славного найденского альбома. Великолепно передано чувство большой деревни, природной воли, присущее старой Москве, — то, что зодчий Владимир Шервуд метко назвал «законом леса». Сам-то ты ведь здешний?

— Родился у Калужской заставы. Была такая Живодерка, мешанская слободка. Тут Москва, собственно, уже кончалась, деревни, дачные места шли. Сейчас, когда видишь этот казарменный плац со статуей Ленина, трудно вообразить прежний пейзаж.

Застал еще, когда был маленький, настоящих русских людей. Великое счастье было: просто их видеть, стариков «с того берега». Люди совсем на нас не похожие, стати особой — при том, что простые обыватели.

Род мой купеческий, богатый, из-под Ельца. Дед имел мельницу самого современного типа, с дизельными моторами, большой дом, двухэтажный, лошадей роскошных. Очень дед лошадей любил. Потом, после революции, появился с родными в Москве, ограбленный, нищий. Еле ноги из родных мест унес. Работал дворником. До самых старых лет красавец был писаный, огромного роста, бабам на загляденье, физически здоровый невероятно. Уже когда жил на Живодерке, в старости, стал совсем глухой. Вышел как-то, стоит, на солнышке греется. И не заметил, что разворачивается рядом грузовик. Прижал деда к стене, а он отдался лишь испугом. Страшно только потом ругался — оказалось, за рулем баба сидела. А нам бы с тобой — все, какое.

— Все, что ты пишешь, — как страницы семейного пейзажного альбома. Только без людей. И сквозь живопись твою все время кого-то вспоминаешь. То русский пейзаж прошлого века. То голландцев. То Каспара Давида Фридриха.

— Мы разучились понимать Шишкина и Айвазовского, их магическое чутье земли и воды. А голландский пейзаж — это чудо воздуха. Фантастическое умение писать бездонные глубины неба одними серенькими тонами, без сильных синевы. Ультрамарин всегда был очень дорогой краской, его берегли, старались обходиться чем попроще. И все равно картины голландцев сияют голубым светом. Фридриха тоже очень люблю. Великий поэт природы, недаром наш Жуковский так ему симпатизировал.

Великая радость, когда встречаешься со старыми мастерами в самой природе, находишь место, где они писали. Вот, например, деревня Лигачево, к северу от Москвы, по Николаевской дороге, — там Юон работал, писал свой «Март». Я эти домишки на бугре сразу узнал, им повезло, кое-как сохранились. И стоят в том же пейзаже.

— Ты хоть и пейзажист, но по сути исторический живописец. У тебя нет природы вообще, просто красивые уголки. Везде было, хотя бы намеком — остатками сада, смутными следами жилья. Москва — средоточие нашей истории, и в твоих образах всегда присутствуют два времени, прошлое и настоящее, беспрепятственно взаимопроникая. Тут и опыт художника, и опыт коренного москвича, привыкшего жить среди руин.

— Прошлое я вижу наяву, не в виде руин, но как живую жизнь. Часто бывает: слушаю музыку — и вижу старую Москву. Ходят какие-то чинные дамы в длинных платьях, ведут за ручки детей в шляпках. Офицеры, кисейные барышни. Ни один домик на другой не похож, все резные, со всякими затеями. Как было на Воробьевских горах, где долго сохранялась старая слободка. Чуть ли не на каждом доме башенка. Сейчас и не поймешь толком, зачем они были нужны. То ли там чай пили, то ли девушка в белом платье книжку читала, мечтала над Бальмонтом. А кругом все утопало в садах. И вся Москва — прежняя, прекрасная! — как на ладони.

Сейчас все загубили, застроили, запоганили. Дома сталинского времени еще хранят какие-то отголоски старинного чувства красоты, узорную затейливость. Все-таки это делали классные архитекторы, которые еще в Императорской Академии художеств учились. А потом пошел сплошной Ассирио-Вавилон. Да-да, тот же культ гладкой плоскости, мертвого прямоугольника, безликой, сверхчеловеческой геометрии. Погляди на новые шалманы, что на Лубянке или на той же Калужской заставе торчат. Гигантские клетки, подойди к которым чувствуешь себя ничтожеством. И первое чувство — стремглав бежать отсюда, лететь.

Ведь в чем главная разница. В русской средневековой архитектуре мерной единичей была сажень, то есть два метра